



Валерий И. Мильдон

Достоевский о Европе

Да и какой истинный русский не думает
прежде всего о Европе?

Ф. М. Достоевский.

Дневник писателя, 1876¹

В 2001 году отмечалось 180-летие со дня рождения и 120-летие со дня смерти Ф. М. Достоевского. Обе даты не прошли незамеченными: в октябре в Баден-Бадене состоялся международный симпозиум «Достоевский и Германия», в декабре собралась международная конференция в Москве «Достоевский в современном мире». Это свидетельствует: творчество русского автора содержит нечто не потерявшее значения, и, несмотря на изобилие исследований, снова и снова хочется узнать, чем привлекает Достоевский современного человека, что в его сочинениях отзывается теперешним мыслям и настроениям.

В эпоху, когда бледнеют традиционные границы европейских государств (стоит ли напоминать, во что обошлись эти границы народам Запада, сколько потеряно бесценных человеческих жизней?), когда понятие национальной и даже расовой принадлежности переходит в разряд малозначащих (или второстепенных) определений личности (хотя религиозные предпочтения все еще разделяют людей – неизбежное, скорее всего, последствие едва ли не любого религиозного сознания), когда, наконец, мир приближается к тому, что и политические разногласия уйдут с первого плана – именно теперь свежо и чуть

¹ Достоевский Ф.М., *Собрание сочинений*: В 15 т. – Т. 13. – СПб., 1994. – С. 95. В дальнейшем это издание цитируется в тексте. Первая цифра в скобках означает том, вторая – страницу.

ли не с прежней остротой звучит старый вопрос: что же такое Европа, западное человечество? есть ли в нем место России, каково оно?

Соображения Достоевского на сей счет оказываются – не побоюсь этих слов – болезненно актуальными.

Есть две темы в его умственном творчестве, обсуждение которых выясняет проблему, вынесенную в заголовок: социализм и народ.

Общезвестно: за свои социалистические убеждения, излагавшиеся на пятничных собраниях у М. В. Буташевича-Петрашевского, он получил четыре года каторги в Омском остроге. В «Дневнике писателя» за 1873 г. о докаторжной поре сказано: «Мы еще задолго до парижской революции 1848 г. были охвачены обаятельным влиянием этих [коммунистических. – В. М.] идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновления мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским» (12, 154).

Вскоре Достоевский войдет в кружок Петрашевского, и его коммунистические порывы оформятся под влиянием идей Ш. Фурье – кумира петрашевцев, хотя не исключено: тогда же у него появляются первые сомнения в истине фурьеризма и социализма. Возможно, сомнениями объяснимы его ответы на вопросах: «...Эта система [фурьеризма. – В. М.] вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система. Во-вторых, как ни изящна она, она все же утопия, самая несбыточная» (12, 233).

Однако до тех пор он признавал ее очарование. Учитывая условия, в каких давались показания, трудно установить с полной достоверностью, что перевешивало: соблазн системы или все же понимание утопизма. Во всяком случае, М. Петрашевский не сомневался, и в его признаниях следственной комиссии есть слова: «Когда я в первый раз прочитал его [Фурье. – В. М.] сочинения <...>, я как бы заново родился, благоговел перед величием его гения»².

После каторги Достоевского перевели рядовым в Семипалатинский линейный батальон. Оттуда в марте 1856 г. он пишет Э. И. Тотлебену, с младшим братом которого учился в Главном инженерном училище. Письмо содержало просьбу ходатайствовать перед государем о дозволении выйти из военной службы и вернуться к ремеслу писателя. «Я был виновен, я сознаю это вполне. Я был уличен в намерении (но не более)

² Бельчиков Н.Ф., *Достоевский в процессе петрашевцев*. – М.: Наука, 1971. – С. 200.

действовать против правительства. Я был осужден законно и справедливо; *долгий опыт*, тяжелый и мучительный, *протрезвил меня и во многом переменял мои мысли*. Но тогда – тогда я был слеп, верил в теории и утопии» (15, 138. Жирный курсив мой. – В. М.)

Нет оснований считать, будто признание вызвано характером просьбы, Достоевский не лукавил в убеждениях. Раскаяние 1856 г. он с еще большей резкостью подтвердил в «Дневнике писателя» 1873 г., оценивая взгляды юности: «Те из нас, т. е. не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех людей *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения, – те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли с ней бороться» (12, 155).

В 1846 г. социализм «правда и святость», теперь, в 1873, «мечтательный бред, мрак и ужас, болезнь». В чем видит писатель хотя бы одну из причин болезни? «В вековом национальном подавлении в себе независимой мысли, в понятии о сани европейца под непременно условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!» (12, 155).

Поставлен диагноз: европейская идея доводит русского до болезни, поскольку тот еще не осознал себя человеком. Потому и не уважает себя, что не осознает, в основании же европейской идеи («сана европейца») лежит представление об индивидуе в качестве центра существования, и сколько людей, столько центров. Когда, согласно Достоевскому, такая мысль попадает в умы людей, еще не осознавших себя, есть от чего прийти в экстаз, потерять над собой контроль (и без того, замечу, не чересчур требовательный), вскричать: «Я свободен, и ничто не помеха мне!» Как ничто? А другой с его свободой? Вот эти-то европейские принципы, полагает Достоевский, не были усвоены, взяли только свободу; без внутреннего сдерживания, еще не воспитанного, не осознанного, та сделалась произволом.

Не европейская (западная) идея плоха, а почва для нее не готова – вот что имел в виду писатель, повторяя: в России из европейских несокрушимых аксиом выводят то, о чем в Европе не подозревают. Один из выводов заключался в том, что европейский теоретический социализм в России переносили на практику, молодой Достоевский сам принадлежал к таким людям. Европу эта практика тоже задела, но боком,

распространению помешало веками созидавшееся понятие об индивидуальности человека.

На эту тему Достоевский рассуждал: «Коммунизм! нелепость! Ну, можно ли, чтоб человек согласился ужиться в обществе, в котором у него была бы отнята не только вся личность, но даже и возможность инициативы доброго дела <...> Учение „скотское“»³.

«Скотское» не брань, а термин, означающий: отрицание индивидуальности – главного, непреодолимого препятствия для социализма, грядущего якобы обновления мира. Если оно и суждено, полагает писатель, то возможно лишь посредством уничтожения человека, это и подтвердилось неоднократно в XX столетии.

Теоретический социализм, а с ним увлечения молодости, безоговорочно осуждены. В упомянутом письме Э.И. Тотлебену Достоевский объяснил и мотивы: «Долгий опыт, тяжелый и мучительный, во много переменял мои мысли».

Два романа, созданные после острога («Записки из „мертвого дома“», 1863, и «Записки из подполья», 1864), показывают, какими были перемены под влиянием тяжелого опыта. Если отбросить уточняющие детали, главное в том, что человек – *непостижимое* существо. «Записки из „мертвого дома“» построены как истории и портреты разных персонажей, между собою ничем, кроме острога, не связанных: вот одно лицо (история), вот другое (другая) – так можно до бесконечности. Форма вполне соответствует содержанию – многообразию индивидуальных вариаций, не обнимаемых общей (одной) идеей, которая не годится для всякого индивидуального случая.

Нельзя избавиться от предположения: как «Записки из подполья» *открыто* полемизируют с Н. Г. Чернышевским и романом «Что делать?», так в «Записках из „мертвого дома“» *спрятана* полемика с типом Базарова из «Отцов и детей» И.С. Тургенева. Философская антропология тургеневского героя не исключала человека из органической природы, рассматривала его в качестве одного из фрагментов материального мира. «Люди что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой», – так понимает Базаров.

³ Достоевский Ф.М., *Полное собрание сочинений*: В 30 т. – Т. 24. – Л.: Наука, 1982. – С. 299. Записки к «Дневнику писателя» 1875 г. Из рабочих тетрадей 1875-1876 гг.

Каторга в изображении Достоевского («портретность») опровергает это убеждение: «...Я теперь силюсь подвести весь наш острог под разряды; но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, даже и с самыми хитрейшими, выводами отвлеченной мысли и не терпит резких и крупных различений. *Действительность стремится к раздроблению*» (3, 438. Курсив мой. – В. М.).

Эти слова – концентрация художественной идеологии «Записок из „мертвого дома“». Она и против базаровщины, и одновременно против социализма молодого Достоевского, очарованного фаланстером. Нет, гласит осторожный опыт, действительность стремится к раздроблению; человек не береза, а тайна, поэтому ничего не выйдет у тех, кто хочет соединить людей в фаланстеры, да еще посредством революции. Мало того: искоренение нищеты, бесправия (на чем строилась социалистическая пропаганда в эпоху Достоевского), при всей справедливости этой задачи, казалось писателю недостаточным, ибо социалисты не учитывали природы человека, упрощали ее (для удобств понимания и неоспоримости заключительных выводов) до базаровского набора примитивных реакций. Они, правда, свойственны людям, но «встроены» совсем в иной умственный и психологический «контекст», нежели «контекст» органической природы. Кто не берет в расчет разницы двух «контекстов» (таковы, по мнению Достоевского, «лекаря-социалисты»), тот заранее проиграл дело.

Персонаж «Записок из подполья» говорит: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в бока и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу ногой, прахом, единственной с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! <...> И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, *всегда и везде*, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода <...> Свое собственное, *вольное и свободное*, хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз... – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая

ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» (4, 469–470. Курсив мой. – В. М.).

Разлетаются, потому что свободное хотение требует своей теории, с общими здесь нечего делать, ибо человеческая природа, согласно убеждениям Достоевского после омской каторги, сугубо индивидуальна. Вот почему социализм не только невозможен, но губителен, социалисты же, вроде Базарова и героев «Что делать?», просто-напросто палачи, их антропология – разновидность зоологии. Базаров так и говорит, объясняя деревенскому пареньку, зачем он изучает лягушек: ему это надо для понимания человека. «...Мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим...»

А раз «те же», то и законы для всех одинаковы, и потому оправданны чаяния грядущего улучшения мирового порядка, тем более человек, в отличие от остальных существ органического мира, действует целенаправленно, разумно. В романе «Что делать?» сказано: «Теперь вы занимаетесь дурными делами, потому что так требует ваша обстановка, но дать вам другую обстановку, и вы с удовольствием станете безвредны, даже полезны, потому что без денежного расчета вы не хотите делать зла, а если вам выгодно, то можете делать что угодно, – стало быть, даже и действовать честно и благородно, если так будет нужно. Вы способны к этому, Марья Алексеевна, но вы не виноваты в том, что эта способность бездействует в вас, что вместо нее действуют противоположные способности...»⁴

Нет, говорит Достоевский, «ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что испорченность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке <...>, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, Который говорит: „Мне отмщение и Аз воздам“» (14, 237. «Дневник писателя», 1877).

Вот от Кого, по мысли писателя, отступила Европа, увлекшись социализмом. Но это не сегодня и не вчера, европейское человечество давно болело, в социализме болезнь лишь вышла наружу. «Древний Рим первый родил идею

⁴ Чернышевский Н.Г., *Что делать?* – М.: Гос. издат. детской литературы, 1934. – С. 164.

всемирного единения. ...Но эта формула пала перед христианством – формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из него составилаь его цивилизация, для нее одной лишь оно живет. Пала лишь идея всемирной *римской* монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному (14, 177–178)⁵.

Римско-католический затем трансформировался, считает Достоевский, во французский социализм, который «есть не что иное как *насильственное* единение человечества – идея, еще от древнего Рима идущая и потому всецело в католичестве сохранившаяся» (14, 7).

Здесь мы сталкиваемся с ошибкой, которую и до и после Достоевского повторяли те, кто был убежден в особом пути России. Ошибка заключалась в том, что социализм выведен из римско-католического идеала, из всемирной теократии и рассматривается в качестве главного явления европейского духа: «Достоевского очень мучил идейный и моральный хаос Европы, долго он искал причину этого хаоса и, в конце концов, нашел ее. Нашел в римокатолицизме.

Почему римокатолицизме? – вознегодуют многие»⁶. Потому, отвечает автор, что европейский человек «создал гордый догмат о непогрешимости человека»; «что римокатолицизм догматом о непогрешимости... обоготворил человека и провозгласил его мерилем в мире человеческих ценностей, он тем самым вольно или невольно стал причиной атеизма, социализма, анархии...»⁷

Ошибочность приведенной мысли состоит в том, что, во-первых, римокатолицизм превращен в синоним европейского духа, но куда автор подевал не римское католичество – все виды протестантства, свидетельствующие, к слову, о невозможности всемирной теократии? Во-вторых, именно

⁵ Для сравнения: «Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле... По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительное продолжение Западной Римской империи, в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры» («Идиот»).

⁶ Преподобный Иустин (Попович). *Достоевский о Европе и славянстве*, 1931. *Сретенский монастырь*. – М. – СПб., 2001 (на титуле – 2002). – С. 196.

⁷ Там же.

европейскому сознанию присуще *отрицание непогрешимости* человека, начавшееся в древнегреческой философии. В «Пире» Платона Алкивиад признавался, что после речей Сократа ему кажется недостойным жить таким, каков он есть. Практика недоверия себе, а не превознесения, – вот что присуще европейской культуре. В качестве примера сошлюсь на два имени, безусловно, известных преподобному Иустину.

А. Уоллес, разделяющий с Ч. Дарвином открытие происхождения видов, писал: «...Человек... уже перестал находиться под влиянием естественного подбора в том, что касается его физической природы. ...Среда, его окружающая, утратила уже над ним ту могущественную власть, которую мы признаем над всем остальным органическим миром». Он – «существо новое и совершенно особое», «не подчиняющееся великому закону, тяготеющему неотразимо над всеми органическими существами»⁸.

Человек не подчиняется закону органического мира. Любопытно, что бы сказал неисправимый биологист Евгений Васильевич Базаров, прочитай он книгу Уоллеса. А какому закону подчиняется человек? Знаменитый ученый в бессилии разводит руками. И это гордость превознесения?

Второе имя – Ф. Ницше. Выписываю почти наугад из философской поэмы «Так говорил Заратустра»: «Человек для меня слишком несовершенен». «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека...» «Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из обезьян». «...В человеке можно любить только то, что он *переход и уничтожение*»⁹.

Уже после поэмы Ницше появилось несколько романов Г. Уэллса («Остров доктора Моро», «Пища богов», «Люди как боги»), где идея недостаточности европейского человека своеобразно трансформировалась в представление о неудачности эволюционного пути. Персонажи Уэллса пробуют перенаправить эволюцию, испытать другой антропологический путь, чтобы получить новый человеческий тип. Это никак не

⁸ Уоллес А., *Естественный подбор*. – СПб., 1878. – С. 344, 353, 354.

⁹ Ницше Ф., *Так говорил Заратустра*, Пер. Ю.А. Антоновского. – М.: Издат. Московского Университета, 1990. – С. 10-13.

свидетельствует в пользу догмата о непогрешимости, но об этом ни слова у преподобного Иустина, ибо не соответствует его взглядам на загнивание Запада.

Но и это не все последствия исходного ложного суждения. Не один исследователь показал, что социализм старше римокаатолицизма и скорее этот последний надо выводить из социализма, а не наоборот. К тому же не католическая Европа, а православная Россия взялась реализовывать социализм¹⁰, что, кстати, предвидел Достоевский. Подобные факты опровергают мнение преподобного Иустина: «Все... тайны европейского духа вместились и слились в одном огромном и неизменном догмате, догмате о непогрешимости человека. Тем самым разрешились главные устремления европейского гуманизма...»¹¹

Защищая ложную идею, нельзя избежать противоречий, которых, само собой, не видишь. Ведь если тайна – это непогрешимость, то уже нет тайны, ибо *ответ получен*. Кроме того, «разрешились устремления европейского гуманизма...» Это противоречит его характеру: гуманизм открыл в человеке многовариантность развития, допустив, что часть этих вариантов, едва ли не большая, неведома самому человеку – какая уж тут непогрешимость!

Собственные антропологические взгляды Иустин приписывает своему оппоненту – культуре Запада, – иначе как ошибкой этого не назовешь, пускай богослов ошибается вместе с Достоевским. У писателя есть и другие суждения, которые не укладываются в узко православную систематику, куда его силится упрятать сербский мыслитель. Достоевский находил в Европе не только «мрак и ужас», хотя и для православных комментариев давал поводы.

«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм!» (14, 489 Дневник писателя, 1877). «...Лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии, без боя и без крови, без ненависти и зла...» (14, 232). «Высшая нравственная идея, выработавшаяся всей жизнью Запада, есть грядущий социа-

¹⁰ Об этом моя статья: *Миллениумы русский и западный: два образа эсхатологии* // „Вопросы философии”. – 2000. – № 7.

¹¹ Цит. соч. – С. 199.

лизм и его идеалы, и об этом нет возможности спорить. Но христианская правда, сохранившаяся в православии, выше социализма. Тут-то мы и встретимся с Европой... то есть разрешится вопрос: Христом спасется ли мир или совершенно противоположным началом...»¹²

Достоевскому ясно: мир спасется русским Христом, а не европейским социализмом, этот вариант спасения и есть русский социализм – не насилие, а братство и любовь, испокон присущие русскому народу, они только ждали своего исторического момента и дождались, полагает писатель. «Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение...» (14, 23). «Величайшее из величайших назначений, уже осознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. <...> Всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского» (13, 188. «Дневник писателя», 1876).

Яркая черта публицистики Достоевского состоит в том, что это – публицистика *художника*: его излюбленные идеи сохраняют признаки, свойственные персонажам его романов: при всем пристрастии к отдельным идеям он с не меньшей убедительностью выражает противоположные.

Представив в «Дневнике писателя» русский народ спасителем (причем спасение является возвратом Россией некоего исторического долга западному человечеству), Достоевский подчеркивает свойства, которые – вопреки его намерениям – сводят на нет любые надежды. Комментируя стихотворение Н. А. Некрасова «Влас», он писал: «...В последний момент вся ложь... выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело божие <...> Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет и спасение воссияют снизу...» (12, 48–49. «Дневник писателя», 1873).

Через три года новое наблюдение, на сей раз не над стихами, а над обыденным течением дел: «Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. <...> Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то

¹² Достоевский Ф.М., ПСС. – Т. 24. – С. 185.

зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю в данном случае преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. <...> Началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана» (13, 34; 35. «Дневник писателя», 1876).

Кабак предпочли церкви. И это те, кому провидением назначено спасти западное человечество во имя Христа, братства, любви. Выходит, истину жизни и святыню променяли на бочку вина?

У Достоевского наготове ответ: да, дурно. И все же. «Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой в то, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованы, очеловечены и счастливы. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было...» (13, 36). «Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать» (13, 49).

Нечего возразить: писатель опирается не на факты, весьма и весьма печальные, а на веру. Пусть вера без дел мертва, но ее логика обходится без фактов, хорошо себя чувствует им вопреки, а еще лучше, когда факты ее опровергают. «Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она *все* решительно... и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор...» (14, 205. Дневник писателя, 1877). «Но, однако, что пока отвечают нам наши же русские? Нам отвечают они, что все это лишь иступленные гадания... и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний, свершившихся фактов» (14, 232).

В письме Н. Д. Фонвизиной (начало 1854 г.) Достоевский признался: «...Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. <...> Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже <...>, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа <...> Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина

вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (15, 96).

Он прав – дело касается его личных убеждений, тут ему никто и ничто не указ, можно обойтись и без аргументов. Но когда *личная* вера кладется – им и его последователями – в основание критики европейских начал, то есть жизни многих народов, нужны доводы, факты.

Фактов нет, но, повторяю, вера обходится без них. Правда, подобные речи и произведут действие только на верующих. А как быть с остальными, которые, возможно, хотят поверить, но – так уж прихотливо устроен человек («а что, господа, не столкнуть ли нам все это...» и т. д., но не в отношении разума, а в отношении веры?) – просят хоть каких-нибудь доводов?

Достоевский приводит один (зато какой!) – освобождение крестьян в 1861 г., рассматривая его проявлением «русской духовной силы». Возразить опять нечего, и все же закрадывается мысль: а что же триста лет мешкали, почему вообще так долго существовало *владение людьми*, никак не вяжущееся со святостью? Впрочем, тоже проявление некой *силы*, нельзя отрицать.

Обращаю внимание на слова: «Русь останется... святой... как была прежде». Что же получается: святая до отмены крепостничества (но как быть с евангельскими заповедями?), святая после?

Ищу ответа, исходя из 120-летнего опыта, накопленного после смерти писателя всемирной (и внутри нее русской) историей, и сразу же возражаю себе: а ну-ка, 120 лет недостаточный срок? В оправдание нахожу единственный довод: вера или неверие равно определяют поведение (и мысль) человека, хотя в каждом случае оно будет разным. Я не верю в бессмертие и потому не могу исходить из аргумента бесконечности. Мое поведение определяется логикой временный, со всеми ее плюсами и минусами, но другой у меня нет. И она свидетельствует: за протекшие годы не произошло ничего, что подтвердило бы надежды Достоевского на Россию; напротив, слишком многое их опровергает. Он писал: «Свет и спасение воссияют снизу» и тут же спрашивал: какое поколение может родиться от таких пьяниц? 120 лет ответили: света снизу нет; что же до поколений, пусть каждый судит по собственному разумению, но ответ должен быть результатом не веры, а рутинной и бесстрастной статистики.

С одной стороны, социализм – «мрак и ужас», но это *европейский* социализм. С другой стороны, *русский* социализм спасет Европу. Идея национального социализма, высказанная Достоевским, не пропала, спустя несколько десятилетий она возшла в Германии и сделалась основанием фашистской идеологии, другим аналогом которой может быть известная в умственной истории России формула «Москва – третий Рим» как универсальная организация будущего человечества, в Германии – это тысячелетний третий рейх.

Мало того, идея Достоевского (служение страны человечеству, и не насилием, а братской любовью) вообще не оригинальна. В начале 50-х гг. XIX столетия, когда писатель еще отбывал каторжный срок, подобную идею высказал Дж. Мадзини. «Он говорил не раз, что ему не было бы дела до Италии, если бы она добивалась только материального могущества и материального благополучия, но что достойною целью борьбы ему кажется, когда Италия выполняет великую миссию прогресса ради человечества и сама становится более высокой, нравственной, верной долгу. Он заговорил при этом о почти мистической вере в значение Рима, самое имя которого уже содержит чудесный смысл, так как Roma, в обратном порядке Amor [любовь, лат.], как бы значит, что Рим в третий раз должен покорить мир [первый раз – империя, второй – католицизм. – В. М.], но уже *силою любви, истинного братства*, от него идущего, чтобы руководящим примером повести за собой другие народы»¹³.

Не правда ли, знакомое: покорить мир любовью, повести за собой народы, братство и т. д.? К этому призвана Италия, четвертому Риму не быть, ибо в третьем Риме – Риме любви (Христа) – исполнятся все чаяния. И Москва – третий Рим, и у Гитлера – третий Рейх, и все ради человечества.

Почему такие совпадения? Потому, что каждый из приведенных примеров – образец *племенной*, архаической идеологии, озабоченной сохранением целого (народа, человечества), а не уникальной индивидуальности. Прошедшее время дало твердые доказательства, имеющие преимущество перед верой: конечно, факты можно интерпретировать по-разному, но любой интерпретатор должен сначала их

¹³ Мейзенбург М., *Воспоминания идеалистки*. – М.-Л.: Academia, 1933. – С. 242. Курсив мой. Запись относится к началу 50-х гг. XIX в. – времени лондонской эмиграции Мадзини после неудачного восстания 1848-49 гг. против французов.

признать. Они же таковы: ни вторая половина XIX столетия, ни всё XX-е не знают ни одного примера, когда бы идеология «интересов человечества» (племени, народа, государства), т. е. интересов общности, не различающей отдельного лица, привела бы к добру.

Национальный же социализм (разновидность «интересов человечества») в его вариантах (русском, германском, китайском или еще каком-нибудь) дал такие подтверждения, перед которыми, на мой взгляд, меркнет значение веры.

Великий инквизитор в поэме Ивана Карамазова говорит Христу: «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете...»

Русскому читателю в начале XXI столетия (впрочем, не исключено, любому читателю) это напоминает не католицизм, а недавнее прошлое, как его ни назови – нацизм, большевизм, сталинизм, социализм. Достоевский этого не мог предположить, но мы, либо пережившие, либо помнящие это, неужели так быстро обеспамятовали? Отчего верить идеям, принадлежащим хотя бы Достоевскому, если очевидна ошибка? Почему пренебрегать собственным опытом или, беря шире, опытом минувшего столетия, который опровергает прогнозы и пророчества писателя, исходящие из его веры?

Да, многое им угадано, но нельзя делать вид, будто угадано все. Старая Европа рухнула, Достоевский прав, но разве не нашла она в себе сил восстать из пепла Первой и Второй мировых войн, гитлеризма, разве не сохранила верности идеалам, которым, по мысли Достоевского же, ей обязана Россия – идеалам личности и свободы? Этого-то и не предвидел писатель, исходя из веры в русский народ, в его всемирность и всечеловечность.

Однажды он сам исчерпывающе объяснил, почему такие ошибки происходят – и с ним, и с кем угодно: «Мы видим действительность всегда почти так, как *хотим* ее видеть, как сами, *предвзято*, желаем растолковать ее себе» (14, 146. «Дневник писателя», 1877).

«Как хотим» – это и есть вера. Теперь слишком хорошо известно, вот что обходится (и обойдется, увы) человечеству любая вера, когда овладевает массами.

Но вот совсем иное, о чем, по словам Достоевского, сказал ему в личной беседе Белинский, прочитав «Бедных людей»: «Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар...» (14, 35).

Именно: *как художнику*, а не публицисту, проповеднику и пр., и все, что писатель говорил как художник, исполнилось либо может исполниться.

Он безусловно угадал Европу как вторую родину русского, ибо выше всего ставил индивидуальность и потому отрещивался от социализма, от всякой племенной идеологии. В речи о Пушкине он обратился к русскому человеку: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь» (14, 428–429).

Вот, оказывается, в чем дело: других сделаешь свободными тогда, когда сам себя освободишь, – это и есть европейская идея в чистом виде, идея индивидуализации. Быть ответственным за все, что происходит с тобой, – для этого надо стать собой. Стать же собой можно, если признаешь свое несовершенство, осознаешь, что твое подлинное «я» не равно твоему «я» сиюминутному (т. е. Я?Я принципиально, в качестве условия человеческого существования), что ты сам в любой момент собственного бытия другой себе (над этим задумывался еще Аристотель, вопрошая, может ли человек быть другом [другим] самому себе).

Это и есть принцип индивидуальности, выработанный духовным опытом Европы – полная, решительная противоположность эгоизму с его Я=Я. Как раз в последнем случае *все позволено*, ибо нет другого, только чужие. Выход из эгоизма не в любви к ближнему (любви не научишься, она – дар, наравне с верой), а в индивидуализации, в осознанных усилиях по выделыванию себя человеком, каковым ты отнюдь не являешься от рождения.

Индивидуалист не в состоянии помыслить о своей непогрешимости, тем более объявить себя человекобогом (что преподобный Иустин вменял европейской культуре в главную вину), коль скоро во всякий момент жизни сомневается в себе, хотя и надеется только на себя. Он признает себя тем, кто должен стать человеком, превзойти себя нынешнего – это и разумел Ницше в «Заратустре», взывая к европейской духовной традиции накануне ее кризиса. Но кризис кризису рознь: одни заканчиваются гибелью, из других выходят с новыми силами.

Достоевский потому и считал Европу второй родиной, что первая, Россия, наставила на путь вочеловечивания; европейская же культура обнаружила средства, без которых этого пути не сделать, а именно: осознание человеком себя в себе самом, как о том Достоевский и сказал в речи о Пушкине, прибавив, что «назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское» (14, 439), он, можно предположить, это-то и разумел – индивидуализацию, благодаря которой человек становится человеком.

Но вместе с этим он превозносил русский народ, его «соборность», о которой, к слову, один из его небезоговорочных поклонников заметил: «Русские „коллективизм“ и „соборность“ почитались великим преимуществом русского народа, возносящим его над народами Европы. Но в действительности это означает, что личность, что личный дух недостаточно еще пробудились в русском народе, что личность еще слишком погружена в природную стихию народной жизни»¹⁴.

Комментарий не требуется, поэтому еще одна цитата, из письма П. Сувчинского П. Савицкому (известные русские эмигранты-евразийцы) от 19 августа 1924 г.: «Спешу поделиться с Вами известием, которое на меня произвело очень сильное впечатление. Вы, вероятно, знаете, что профессор Платонов был в Германии. Будучи в Берлине, он заходил к Карсавину. Они долго беседовали, конечно, о России. Между прочим, Платонов так ответил на вопрос Карсавина, «что-де происходит сейчас в России?»: «Нарождается какой-то новый культурный тип русского человека; происходит какое-то перерождение среднего русского человека; этот новый тип скорее *стенного, восточного* характера. Вследствие весьма сложных внутренних процессов, передвижений людских масс, *всеобщей элементаризации*, Россия стала восточной страной, передвинулась, так сказать, на Восток»¹⁵.

Да, азиаты мы. Это-то и худо, поскольку от Азии взято все наименее динамичное, наименее перспективное, наиболее косное и прежде всего – полное пренебрежение интересами отдельного лица, индивидуализацией.

Однoboкие последователи односторонне прочитанного Достоевского не разглядели в соборности азиатчины, бессоз-

¹⁴ Бердяев Н., *Мирозозерцание Достоевского*, 1923. – М.: Захаров, 2001. – С. 124.

¹⁵ *Евразия: Исторические взгляды русских эмигрантов*. – М., 1992. – С. 26. Курсив автора.

нательной приверженности архаическому миру, элементаризации; смешали эгоизм – универсальную, увы, человеческую черту – с индивидуализмом – его прямой противоположностью. Старые славянофильские ошибки в оценке Европы – сейчас очевидно, что это именно ошибки, – повторяются без малейших корректировок, словно не прошло столетия. Один из таких последователей писал: «Каков же высший идеал европейского человека? Прежде всего это самостоятельный и непогрешимый человек – человекобог. Все идеи и вся деятельность европейского человека пронизаны одним желанием и одним стремлением: стать независимым и самостоятельным, как Бог»¹⁶.

Самостоятельный не обязательно непогрешимый, а если так, ни о каком самообожествлении и речи нет, европейская духовная культура дышит пафосом устойчивой гуманитарной самокритики, благодаря которой эта культура постоянно самообновляется и выходит из собственных кризисов. Коль скоро человек надеется – да и то с оговорками – на себя, как он может сравниваться с Богом? Только с людьми, необходимыми для его собственного существования, это и есть индивидуализм.

На это противоречие писателя давно обратили внимание. Один из критиков заметил в конце позапрошлого века: «...Несмотря на поклонение русскому духу, в одном отношении Достоевский не был русским вовсе: в нем совсем отсутствовала склонность к мирской, к массовой жизни. Он индивидуалист до мозга костей, иначе он не мог бы сочувственно воспроизвести такие чисто индивидуальные характеры, как Раскольников, Ставрогин, Дмитрий Карамазов. Понять это противоречие, конечно, трудно, но оно бьет несомненно в глаза»¹⁷.

Как бы ни относиться к этому замечанию, его автор признает индивидуальность не русской чертой. Сейчас, в начале XXI столетия, очевидно: именно индивидуальность делает некий природный феномен человеком, а потому примирить ее и соборность или всечеловечность и всемирность, ее и социализм, для которого человек только средство и материал, нельзя, история оставляет нам один вариант – индивидуальный, ибо другой, соборный, коллективный, социалистический, себя не оправдал.

Вопреки гипотезе Достоевского, русский народ не спас европейского человечества: либо преувеличена угроза гибели

¹⁶ Преподобный Иустин // Цит. соч. – С. 232.

¹⁷ Головин К., *Русский роман и русское общество*. – СПб., 1897. – С. 330.

Европы, хотя ее история знала трагические времена; либо Европа сама справилась со своими кризисами в прошлом, и это позволяет надеяться на ее будущее. И не Россия спасительница, а Европа может помочь России пережить племенную идеологию – как раз такую роль Европы Достоевский проницательно угадал: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа» (13, 187).

Вторая родина учила не всечеловечности, а индивидуализации и научила, согласно художественному опыту писателя, смотреть на человека как на единственную ценность земного существования. Этот взгляд, можно надеяться, рано или поздно приобретет силу факта национальной истории, нужно лишь, чтобы Европа – вторая родина была осознана. Допускаю, такой именно смысл имели слова русского философа: «Свобода у Достоевского есть не только христианское явление, но явление нового духа»¹⁸.

Новизна предполагалась в том, что русские начнут осознавать себя европейцами и свой путь в истории путем одного из европейских народов, не противопоставляя себя Западу. Это было главной мыслью Достоевского о Европе, свидетельствующей, что он преодолевал национальный соблазн *своего пути* ради общеевропейского, который, однако – и в этом Достоевский тоже оказался пророком – не может быть пройден европейским человечеством без России, в ином случае нельзя рассматривать Европу родиной.

«...Назначение русского человека есть, бесспорно, всевропейское...» Следовательно, вне Европы это назначение не реализуемо и Европа – необходимое условие «русскости». «Свой путь» России оказывается путем в Европу, то есть путем к себе – в этом и состоит наше своеобразие: отталкиваясь от Европы так долго и вместе притягиваясь ею, надо осознать наконец, что пора отталкивания миновала, что мы – Европа, и начать жить как европейское общество. Ни одна другая европейская страна такого пути не проделывала. Но тогда наш удел не всемирность и всечеловечность, ибо во всемирности исчезает индивидуальность, разве что допустить всемирность индивидов, но в таком случае национальная принадлежность не имеет никакого значения.

¹⁸ Бердяев Н., *Мировоззрение Достоевского*. – М.: Захаров, 2001. – С. 53.